

ФРАНЦ КАФКА

Под стражей

Начало романа *Процесс*

Перевод и вступление Михаила Рудницкого

[247]

ИЛ 1/2020

От переводчика

Я пишу эти заметки по ходу работы над новым переводом романа Кафки “Процесс”, начальный фрагмент которого в моей интерпретации представлен здесь на суд читателей. Поскольку это не первый мой “перепереводческий” опыт, в том числе и с произведениями Кафки, хочу поделиться на сей счет некоторыми соображениями: часть из них назрела давно, а кое-какие возникают именно сейчас, в азарте дела, когда необходимость нового прочтения общеизвестного шедевра осознается все отчетливей, как и аргументы в полемике с предыдущим переводом, выполненным Р. Я. Райт-Ковалевой, несомненно, мастерски, но более полувека назад, — и как раз сама эта временная дистанция все чаще дает для такой полемики поводы и пищу.

Перевод, как известно, с неизбежностью впитывает в себя духовную атмосферу не только времени создания оригинала, но и эпохи, в которую жил и трудился переводчик. Здесь не время и не место подробно излагать историю многочисленных интерпретаций творчества Кафки в целом и его романов в частности, конспективно отмечу лишь одну очевидную тенденцию: до Второй мировой войны в небогатой литературе о писателе (во многом с легкой руки его друга и душеприказчика Макса Брода) преобладали достаточно отвлеченные, в основном философско-религиозные толкования его творчества. Зато после 1945 года, по мере того как раскрывалась правда о чудовищных злодеяниях тоталитарных режимов, Кафку стали превозносить как пророка, сумевшего предугадать и отобразить в своем искусстве ужасы ГУЛАГа и Освенцима. Подобное — не хочется, но придется сказать — несколько поверхностное восприятие творений Кафки очень скоро и широко утвердилось в массовом сознании по обе стороны “железного занавеса”, став особенно популярным у нас в стране, подтверждений чему несть числа — от получившей всенародное хождение шутки “мы рождены, чтоб Кафку сделать былью” до вполне серьезных рассуждений одного известного переводчика, предлагавшего название романа “Замок” переводить на русский язык как “Кремль”. Но и на Западе оре-

ол гениального провидца прирос к Кафке всерьез и надолго, особенно в трудах мемуаристов, иные из которых — например, Густав Яноух, выпустивший знаменитый томик “Разговоров с Кафкой”, — мягко говоря, балансируют на грани фальсификации.

Переводы Р. Я. Райт-Ковалевой создавались как раз в ту пору, и влияние чрезмерной актуализации, вкупе с недостаточной изученностью наследия писателя (текстологические издания Кафки начали выходить в свет лишь двумя десятилетиями позже), полагаю, просто не могли на них не сказаться, давая о себе знать совершенно неожиданно и в весьма чувствительных, концептуально важных для понимания искусства Кафки местах. Со всей ответственностью заявляю и прошу не считать это просто фигурой речи: я с огромным уважением отношусь к литературному наследию этого выдающегося мастера художественного перевода. Ее интерпретация двух романов Кафки во многих отношениях являет собой пример уверенного, искусного, а порой и виртуозно техничного преодоления трудностей, которые в изобилии ставит перед переводчиком повествовательная манера великого автора. Не удивительно — с учетом к тому же особой значимости, которую волею исторических судеб приобрело у нас искусство Кафки, — что работы эти прочно вошли в наш культурный обиход и до сих пор воспринимаются едва ли не каноническими. Тем важнее, как мне кажется, какие-то принципиальные решения этого канона все же оспорить.

Так, первая же фраза романа “Процесс” в оригинале со свойственным для Кафки коварством использует конструкцию немецкого сослагательного наклонения, позволяющую вопрос о вине главного героя толковать двояко: ее можно воспринять и как косвенное высказывание самого Йозефа К., не сомневающегося в собственной невинности, и как констатацию повествователя, которая, наоборот, бросает на эту невинность тень сомнения. Переводчица, оказавшись на этом распутье, всякие сомнения отбрасывает, для нее Йозеф К. — безвинная жертва и под арест попал, “не сделав ничего дурного”. Между тем, вопрос о виновности или невинности Йозефа К. — на самом-то деле и есть самый загадочный, самый интригующий вопрос всей книги!

Еще пример: в первой главе Йозефа К., только что узнавшего о своем аресте, приглашают в соседнюю комнату на допрос к надзирателю (в переводе Райт-Ковалевой это более правдоподобный и понятный нашему читателю “инспектор”, только автор, похоже, совсем не к правдоподобию здесь стремился: ведь появление надзирателя в жилище героя как бы превращает это жилище в тюрьму). Не обнаружив для себя стула, Йозеф К. спрашивает, куда можно сесть, и слышит в ответ, как интерпретирует переводчица, казенное, словно от конвоира-вохровца, “не положено”. В оригинале формулировка более мягкая: “Не принято”. Вместо прямого запрета герою предлагается выбор: он может возмутиться, потребовать уважения, настоять на своем праве, или, как он и поступает, смириться, проглотить унижение.

Кстати, о самом слове “арест” в названии первой главы и вообще в лексике романа. Да, по всем словарям немецкое “Verhaftung” первым значением так и переводится, а в начале 60-х понятно, какие ассоциации оно сразу же вызывало. Закавыка, однако, в том, что в немецком языке это слово исконного, а не иностранного, как у нас, происхождения. У нас оно завелось, полагаю, с петровских времен. “Verhaftung” же, отвечаясь от очень древнего корня, сопряжено в теле языка со множеством других слов, так или иначе связанных с ощущениями и смыслами “задержания”, “плена”, “неволи”, и этот древний, от правремен идущий смысловый привкус, по моему убеждению, для общего контекста романа чрезвычайно важен. Полагаю, во всем корпусе текста романа совсем уж без слова “арест”, быть может, и не обойтись, но с первых строк, а по сути, с первого же слова пренебрегать важной историко-лексической окраской можно было, наверно, только держа в уме все ту же мысль о чудодейственной пророческой актуальности автора.

Еще более красноречиво та же тенденция однозначного прочтения выказывает себя в переводе заключительной фразы романа: в оригинале Йозеф К. в последние, предсмертные секунды унижительной казни успевает подумать, что его убивают “как собаку” и что “этот стыд останется жить даже после его смерти”. Гениальность Кафки как раз в таких вот парадоксальных образах и проявляется: стыд героя столь велик, столь неодолим, что преодолевает даже границы его физического существования. Создавая образ такой силы, автор, наверно, все-таки имел кое-какие соображения насчет вины Йозефа К. В переводе, по уже понятным побуждениям, вместо “стыда” говорится о “позоре”, то есть внутреннее самоощущение персонажа подменяется категорией публичного осуждения. Согласитесь, это все-таки совсем разные вещи: позору можно подвергаться, не испытывая стыда, напротив, даже чувствуя гордость!

“Виновен! Невиновен! Подумаешь, велика важность!” — прервет меня тут возмущенный читатель из тех, кто склонен воспринимать роман всего лишь как художественный гротеск, запечатлевающий мучения безвинной жертвы в жерновах бюрократической машинерии. Мне, признаться, и самому неловко цепляться к прекрасно написанному тексту с подобными крючкотворскими придирками. Но возмущенному читателю я тем не менее вынужден буду возразить; увы, важность велика. Ибо если присмотреться пристальнее: в конечном счете, что такое история главного героя “Процесса”, как не череда все новых и новых попыток *любой ценой и любыми способами* избежать нависшей над ним угрозы? Да, угроза эта, явленная в ипостаси таинственного Суда, неведома, непостижима и потому страшна вдвойне, но ведь в стремлении укрыться, увильнуть от нее Йозеф К. действительно не гнушается в средствах и готов пойти *на любые ухищрения*. В конечном счете, что такое история главного героя романа “Замок”, как не череда все новых и новых попыток *любой ценой и любыми способами* добиться вожденной цели — проникнуть в загадочный и недоступный Замок? Да, мотивы поведения у героев разные, пожалуй даже, диаметрально

противоположные, ибо один домогается вожделенной цели, другой спасает свою шкуру, но образ действий — одинаковый, с требованиями нравственности не совместимый.

Русская идиома насчет шкуры (ах, сколько всего надо было бы сказать о представителях фауны в мире, а точнее, в мифе Кафки, но не здесь, увы, не здесь) пришлось тут донельзя кстати — она куда выразительнее и ближе к кафковскому пониманию человека, нежели немецкое, “окультуренное” спасение “собственной кожи”. Привыкнув видеть в Кафке художника, который действительно с невероятной изобретательностью живописует абсурдные лабиринты уходящих в дурную бесконечность тоталитарных властных структур, мы, замороженные диковинностью этих конструкций, редко замечаем другое: сами структуры эти явлены в произведениях Кафки прежде всего как результат человеческой деятельности, а точнее говоря, человеческого неразумения и несовершенства. Конечно, и реальный социальный опыт вращения писателя в бюрократических инстанциях Австро-Венгерской империи, и его умение “развить” и “усовершенствовать” этот опыт силами и игрой собственной фантазии составляют важную часть его искусства, но в центре его внимания всегда и только сам человек, который и помещен в эти структуры, так сказать, с экспериментальной целью изучения (недаром ведь в “Процессе” квартирная хозяйка высказывает предположение, что в аресте Йозефа К. “есть что-то научное”) его противоречивой и, увы, отнюдь не безупречной природы.

Ибо Кафка видит человека в трагической раздвоенности природного и нравственного начал. Отнюдь не новая, пожалуй, даже банальная сама по себе, эта дилемма обретает под пером Кафки невероятную выразительность. Этот художник тем и велик, что наделен поистине гениальным умением подмечать в поведении человека все инстинктивно-природное, импульсивно-бесконтрольное в нервическом соотношении, в конфликтной динамике алогичного и драматического против- или взаимодействия с нравственным. Его пророческий дар проявился не в историческом предвидении. Обладая он таковым, уж наверно, не записал бы 1 августа 1914-го в дневнике: “Россия объявила войну Германии. После обеда — бассейн”. (Для него, как и для большинства современников, на первых порах это была обычная война в череде многих, сотрясавших планету в начале XX века.) Его гениальность проявилась в том, что он сумел, образно говоря, провидеть возможность Освенцима в каждом из нас. Под оболочкой самых обычных житейских коллизий он умеет разглядеть и с поразительной меткостью запечатлеть в человеке непрестанную борьбу разумного с необузданным, очеловеченно-нравственного — с инстинктивно-диким. Вторжения стихийного природного начала в обжитый и обустроенный человеком цивилизованный мир под пером писателя практически всегда таят в себе угрозу и некую экзистенциальную жуть, в них запечатлены древние, неодолимые влечения, дремотствующие в человеке с первобытных времен — голод, жажда, похоть, тяга к насилию, агрессия, — но и страх перед этими же влечениями. Для Кафки неизбывное присутствие в жизни

его персонажей этой дилеммы — как бы своеобразный, постоянно работающий в его искусстве эффект остранения, благодаря которому в живописуемом им мире все удивительное естественно, а все естественное удивительно. С чуткостью сейсмографа Кафка фиксирует мгновения, когда человек тщетно стремится совместить несовместимое, примирить нравственное начало с зовами природы, больше того — в этой раздвоенности человека писатель видит некий исконный, роковой, неизлечимый порок, оборачивающийся *виной*. Ведь неспособность соответствовать собственным то ли добровольно, то ли поневоле взятым на себя обязательствам — это, конечно, беда, но это и вина. Та самая вина, которая таинственно и зловеще “притягивает к себе правосудие” в “Процессе” и о которую в свое время в попытках дать однозначное истолкование романа исследователями творчества Кафки было сломано столько полемических копий. Но в таком случае быть может, столь неотступно преследующий героя Суд — это всего лишь в гротескных масштабах развернутая и виртуозно реализованная метафора Совести?

Тут, видимо, самое время сказать, что Кафка — непревзойденный мастер зашифровывать потаенные смыслы своих творений. (Замечу в скобках: есть у него миниатюры, представляющие собой как бы кроссворд без разгадки, некие шарады, закодированные для самого себя и больше ни для кого.) Но, как правило, он — большой любитель затевать хитроумную игру с читателем, как бы невзначай подбрасывая тому — подчас внезапно и в самом неожиданном месте — некую зацепку, как бы выглядывающий из текста “хвостик” отгадки. Есть такие “хвостики” и в обоих романах. Вот в “Процессе” Лени, подозрительно, почти по-животному похотливая секретарша адвоката, ни с того ни с сего вдруг показывает Йозефу К. у себя на руке перепонки между пальцами — и жуткая близость первобытно-утробного, ящериного бытия, таящегося где-то за тонюсенькими перегородками цивилизации, обдает нас своим смрадным дыханием. (Точно так же, замечу в скобках, и в “Замке” вся повадка приданных землемеру К. помощников выдает в них скорее животных — то ли собак, то ли мартышек, — чем людей, в связи с чем характеристика “люди верные” применительно к ним в прежнем переводе, на мой взгляд, категорически противоречит авторскому замыслу.)

Еще одна подсказка, гораздо более внятная, дана в притче “У врат закона”, которую излагает Йозефу К. капеллан в соборе: из нее ясно следует, что герой вполне может освободиться от власти Суда, для чего ему достаточно лишь преодолеть собственный страх, — но как раз на это он и не способен. Сходным образом в начале романа “Замок” сельский учитель в ответ на вопрос землемера К. о графе, владельце Замка, огорошивает того совершенно нелогичным, казалось бы, замечанием: “Постыдились бы при детях”. На мой взгляд, разгадка тут возможна только одна: Замок как раз и воплощает в себе неодолимую власть над человеком природных, аморальных сил, вненравственных по самой сути своей инстинктов, постыдных с человеческой точки зрения позывов, он становится в романе симво-

лом Соблазна, грозным и притягательным источником власти и произвола, разврата и насилия, похоти и порока.

(Получается, замечу в скобках, что “Процесс” и “Замок”, при всем сходстве “магической” манеры повествования, — это как бы два полюса, два противоположных мира в искусстве Кафки, что, кстати, находит отчетливое отражение в композиции романов. Сюжет “Процесса” разворачивается не линейно, а как бы рывками в разные стороны, композиционно отображая метания человека, оказавшегося в ловушке, в западне, и пытающегося высвободиться. Действие “Замка”, напротив, разворачивается линейно, однако, подобно лабиринту, маня и обманывая, уводит героя, а вместе с ним и читателя, все дальше от цели.)

Наконец, еще одна разновидность авторской подсказки — это достаточно распространенный у Кафки прием поиграть с именами своих персонажей — они у него, как, кстати, у Булгакова, нередко говорящие. К примеру, в том же “Процессе” от фамилии квартирной хозяйки госпожи Грубах с первых же строк, наверно все-таки неспроста, так и веет зловещим замогильным хладом, а фамилия барышни Бюрстнер, вроде бы второстепенного персонажа, за которым, однако, прячется более чем важная в биографии писателя фигура его невесты Фелиции Бауэр, раскрывается целым букетом смысловых оттенков: тут и “щетка”, сходная по смыслу с нашей “мочалкой” из жаргона стилига и хиппи, тут и шарадные намеки на “бюст” и немецкие “Brüste”, то бишь женские груди, да и у глагола “bürsten” помимо основного значения “чистить щеткой” есть идиоматическое “песочить”, “пилить”, а в конце словарной статьи, с пометкой “вульгарно”, фигурирует эвфемизм и совсем уж неприличного свойства.

Как быть в таких случаях переводчику? Оставлять имена вовсе без перевода — это ведь не только утрата важных для автора смысловых оттенков, но и увеличение дистанции между автором и читателем, между текстом оригинала — и теми, для кого этот текст предназначен. Разумеется, бывают авторы, манера которых строится как раз на своеобразном отталкивании, отчуждении читателя, намеренном усложнении для него восприятия художественного произведения — хорошими примерами тут могут послужить два австрийца, Томас Бернхард и новоявленный нобелевский лауреат Петер Хандке. Но когда автор (а Кафка, несомненно, именно такой автор) всеми силами стремится, чтобы читатель вжился в описываемых героев и события, сроднился с ними, — прямая обязанность и долг переводчика стремиться к тому же, по возможности не загромождая текст чужеродными реалиями вроде “фрау”, “фройляйн” (к ним ведь, по логике вещей, неизбежно должен прилагаться и совсем уж неблагозвучный “херр”, который даже в случае превращения его в “герра” никак лучшему усвоению текста не способствует), а также, допустим, “прокурисст”, с которым и сам я еще не решил, что делать, но оставлять которого не хочется — ведь ассоциация тут возникает только с “прокурором”, а она, несомненно, ложная.

Таковы далеко не все соображения, которыми хотелось поделиться, но вступление это, чувствуя, и так неприлично затянулось.

НЕ иначе, кто-то Йозефа К. оклеветал, ибо однажды утром, не совершив вроде бы ничего дурного, он оказался под стражей. Кухарка госпожи Гробах, его квартирной хозяйки, каждое утро около восьми приносившая ему завтрак, на сей раз не пришла. Такого еще никогда не случалось. К. подождал немного, поглядывая со своей подушки в окно на старуху, что жила напротив и сейчас смотрела на него с каким-то недобрый любопытством, потом, неприятно удивленный, да и голодный, позвонил. Тотчас в дверь постучали, и в комнату вошел мужчина, которого К. прежде в квартире не видел. Был он строен, хотя и плотно сбит, в ладно пригнанном, но странном, на манер дорожного, черном костюме, с уймай пряжек, карманов, застежек, хлястиков, вдобавок еще и с поясом, вследствие чего сам фасон казался особенно практичным, хотя и неясно, для какой, собственно, цели.

— Вы кто такой? — все еще из кровати спросил К., от неожиданности привстав на локтях.

Мужчина, однако, пропустил вопрос мимо ушей, словно его вторжение следует принять как неизбежность, а вместо ответа только бросил:

— Вы ведь звонили?

— Анна должна подать мне завтрак, — сказал К., а сам, пока молчком, во все глаза рассматривал незнакомца, пытаясь сообразить, что он за птица. Но тот не дал долго себя разглядывать, а, обернувшись к двери и слегка ее приоткрыв, кому-то там, за порогом, сообщил:

— Желает, чтобы Анна завтрак ему подала.

В ответ из соседней комнаты послышался смешок, причем непонятно было, то ли один человек смеется, то ли несколько. И хотя ничего для себя нового из самого этого смешка незнакомец вроде бы уяснить не мог, он — теперь уже тоном строгого уведомления — сообщил К.:

— Это невозможно.

— Вот еще новости! — возмутился К., вскакивая с постели и спешно натягивая брюки. — Сейчас выясним, что за люди там за стенкой и как госпожа Гробах объяснит мне это вторжение.

Он, правда, попутно успел подумать, что совершенно ни к чему излагать свои мысли вслух, тем самым как бы отчитываясь перед незнакомцем и в известной мере признавая за ним право надзора, но решил, что сейчас это не имеет значения. Однако визитер как раз эту слабинку из его слов только и выхватил, ибо тотчас заметил:

— Не лучше ли вам остаться тут?

— Я не намерен ни оставаться тут, ни выслушивать вас, пока вы не представились.

— Ну и зря, я ведь по-хорошему, — сказал незнакомец, уже сам распахивая перед К. дверь.

В соседней комнате, куда К. вошел медленнее, чем хотелось бы, все выглядело на первый взгляд почти так же, как накануне вечером. Это была гостиная госпожи Гробах, и, казалось, в этой загроможденной мебелью, фарфором, безделушками, скатерками, фотографиями комнате сегодня было чуть больше места, хотя осознавалось это не сразу, тем паче, что главная перемена состояла в присутствии еще одного постороннего, устроившегося возле открытого окна с книгой, от которой он тотчас поднял глаза.

— Вам следовало оставаться у себя! Разве Франц не сказал вам?

— Да, но что вам нужно? — спросил К., переводя взгляд то на одного непрошеного гостя, то на другого, кого называли Францем, — тот все еще стоял у двери. За окном в доме напротив виднелась все та же старуха: движимая неумным маразматическим любопытством, она перебралась теперь к другому окну, лишь бы ничего не упустить.

— Я хотел бы с госпожой Гробах... — начал К., но непроизвольно дернулся, словно вырываясь от обоих визитеров, хоть те и стоят от него поодаль, и двинулся было дальше.

— Нет, — сказал человек у окна, бросив книгу на столик и вставая. — Вам выходить нельзя, вы ведь взяты под стражу.

— Похоже на то, — проронил К. — А с какой такой стати? — спросил он затем.

— Мы не обязаны вам отчетом, да и права не имеем. Идите в свою комнату и ждите там. Коли уж начато расследование, в свое время все сами узнаете. Я и так выхожу за пределы дозволенного, говоря с вами по-хорошему. Но надеюсь, кроме Франца нас никто не слышит, а он и сам против всех правил вон как с вами любезен. Если вам и дальше будет так фартить, как с назначением стражников, можете вообще ни о чем не беспокоиться.

К. хотел было сесть, но только тут обнаружил, что во всей комнате, кроме кресла у окна, сесть некуда.

— Вы еще сами убедитесь, насколько все это правда, — поддал Франц, вдруг одновременно с напарником подходя к К. вплотную. Особенно второй стражник, чуть не на голову превосходя К. ростом, буквально нависал над ним, то и дело похлопывая его по плечу. С двух сторон они стали ощупывать его ночную рубашку, приговаривая, что теперь-то ему придется носить рубашки поплотнее, но эту рубашку, как и прочее

его бельишко, они сохраняют, и, если дело его завершится благополучно, конечно, все ему вернут.

— Так что вы лучше вещички нам оставьте, чем на склад сдавать, — посоветовали они, — на складе хищения, к тому же через какое-то время вещи просто распродают, неважно, закончено расследование или нет. А такие процессы, особенно в последнее время, знаете, сколько тянутся! Так что в конце концов вам на складе в лучшем случае компенсацию выплатят, да только компенсация эта — и сама по себе смехотворная, ведь вещи распродают не по стоимости, а за взятки — с годами и вовсе превратится в пшик, потому как деньги эти невесть через сколько рук проходят.

К., впрочем, не особенно прислушивался к этим советам, правомерность чьих-либо притязаний на его личное имущество, которым он пока что располагает, он расценивал не слишком высоко, куда важнее сейчас было понять, что с ним вообще происходит, однако в присутствии этих чужаков он даже думать толком не мог, на него снова и снова вроде бы по-свойски, почти дружески напирало пузо второго стражника, — а кто же они еще, как не стражники? — но стоило поднять глаза, как над этим пузом он видел вовсе не подходящее к столь тучному телу сухое, костистое лицо с крупным, на сторону свернутым носом, и лицо это, не обращая на него никакого внимания, переглядывалось с другим стражником. Откуда вообще эти люди? О чем улавливаются? Какое ведомство представляют? Ведь К. живет в правовом государстве, в мирное время, все законы действуют, кто посмел напасть на него в его собственном жилище? Сам-то он имел склонность относиться к жизни по возможности легко, в худшее верить, только когда оно и вправду наступит, а о будущем, какие бы угрозы в нем ни таились, заранее не тревожиться. Но сейчас, похоже, подобное отношение не к месту, происходящее можно, конечно, принять за шутку, грубую шутку, которую невесть зачем — уж не потому ли, что как раз сегодня ему тридцать исполнилось — с ним вздумали сыграть сотрудники из банка, такое не исключено, и, быть может, решишь он сейчас особо свойским манером прямо в лицо этим стражникам рассмеяться, и они тоже рассмеются в ответ, вдруг это просто посыльные с улицы, не сказать ведь, что не похожи, — тем не менее на сей раз буквально с первой секунды, едва увидев стражника Франца, он исполнился решимости ни крохи преимуществ, которые, надо полагать, дает ему его статус, этим людям не уступать. И не видел особой беды, если его потом станут упрекать, дескать, шуток не понимает, но, впрочем, тут же припомнил — хотя вообще-то на прошлый опыт рав-

няться не привык — пару-тройку мелких случаев, когда, в отличие от своих друзей, вполне осознанно, не испытывая ни малейших предчувствий относительно последствий, повел себя неосмотрительно, за что и поплатился. Такое не должно повториться, по крайней мере на сей раз; если это комедия, что ж, он подыграет.

Ведь пока он свободен.

— Позвольте, — сказал он и, проскользнув между стражниками, быстро прошел к себе комнату.

— Похоже, образумился, — услышал он за спиной.

Очутившись у себя, К. кинулся к письменному столу, рывком поочередно выдвигая ящик за ящиком, — там все лежало в полном порядке, и только удостоверение личности, которое он искал, должно быть, от волнения все никак не находилось. Сперва ему попало на глаза удостоверение велосипедиста, он хотел было направиться к стражникам с ним, но потом счел этот документ слишком несолидным и продолжил поиски, пока не обнаружил свое свидетельство о рождении. Едва он снова вернулся в комнату, дверь напротив распахнулась, и на пороге возникла госпожа Гробах. Но лишь на миг, ибо при виде К. она явно смешалась, пробормотала извинения и тут же скрылась, тихо-тихо притворив за собой дверь.

— Да входите же! — только и успел сказать К., да так и застыл посреди комнаты с бумагой в руках, глядя на дверь, которая больше не открылась, покуда оклик кого-то из стражников не вывел его из оцепенения, и только тут, глянув в их сторону, он с изумлением обнаружил, что эти двое, расположившись за столиком у открытого окна, уплетают принесенный ему завтрак.

— Почему она не вошла? — спросил К.

— Не положено, — буркнул высокий. — Вы ведь задержаны.

— Да за что меня задерживать? А уж таким манером и по-давно.

— Ну вот, опять вы за свое, — пробурчал стражник, обмакивая в мед ломтик хлеба с маслом. — Мы на такие вопросы не отвечаем.

— А придется ответить, — сказал К. — Вот мои документы, извольте теперь предъявить ваши, прежде всего ордер.

— Бог ты мой! — вздохнул стражник. — Да что ж вы в собственное положение никак войти не желаете, вместо того чтобы нас попусту раздражать, хотя людей ближе нас у вас, пожалуй, нынче на свете нету!

— Святая правда, вы уж поверьте, — добавил Франц, так и не донеся до рта кофейную чашку и смеря К. долгим и, надо

полагать, многозначительным, но совершенно непонятным взглядом. Невольно втянутый в эту невразумительную переглядку, К. не сразу спохватился, но затем, похлопав по своим бумагам, сказал:

— Вот мои документы.

— Да нам-то они на что! — теперь уже в голос вскричал здоревенный. — Честное слово, вы хуже малого ребенка. Чего вы добиваетесь? Думаете, втягивая нас, простых стражников, в споры насчет каких-то бумажек, ордера какого-то, вы сможете приблизить конец вашего треклятого, чудовищного дела? Мы всего-навсего низшие чины, в бумагах ваших вообще мало что сможем, по вашей части у нас одна только забота — держать вас под стражей десять часов в сутки и получать за это жалованье. Вот и весь спрос с нашего брата, хотя, конечно, нам ли не знать, что верховные органы, на службе у которых мы состоим, прежде чем постановить кого-то задерживать и взять под стражу, в мельчайших подробностях и о причинах задержания, и о личности задержанного осведомлены. Тут ошибок не бывает. Наши службы, насколько я их знаю — а мне они знакомы лишь на самом низшем уровне, — так устроены, что им нет нужды разыскивать носителей вины среди населения, напротив, как сказано в Законе, вина сама притягивает к себе силу права, вот тогда и высылают нас, стражников. Таков Закон. Какие же тут могут быть ошибки?

— Не знаю я такого закона, — проронил К.

— Тем хуже для вас, — отозвался стражник.

— Да он, похоже, только у вас в головах и существует, — продолжил К., но ему хотелось как-нибудь проникнуть, прошмыгнуть в мысли стражников, чтобы склонить их в свою пользу или хотя бы в этих мыслях обжиться.

Но стражник только сухо отрезал:

— Еще успеете на себе испытать.

Тут и Франц встрял, заметив:

— Видишь, Виллем, сам же говорит, что Закона не знает, а уверяет, что невиновен.

— Ты совершенно прав, но такому ничего не втолкуешь, — отозвался тот.

На это К. ничего не стал отвечать. "К чему только зря забивать себе голову вздорной болтовней этих, как сами они признают, рядовых низших чинов? Берутся рассуждать о вещах, в которых ни бельмеса не смыслят. И весь гонор их только от их же глупости. Достаточно будет переброситься парой слов с человеком моего ранга — и все разъяснится несравненно скорей, чем в нескончаемых препирательствах с этой шушерой". Он прошелся туда-сюда по свободному пятач-

ку в середине комнаты, увидел, что старуха в доме напротив успела притащить к окну совсем уж древнего старика и стоит теперь с ним в обнимку. Этому глазению пора положить конец.

— Отведите меня к вашему начальнику, — распорядился он.

— Не раньше, чем он сам того пожелает, — ответил тот, кого звали Виллемом. — А вам я рекомендую, — добавил он, — вести себя поспокойнее, пройти к себе в комнату и ждать, какие на ваш счет будут распоряжения. А еще наш вам совет: не отвлекайтесь на всякие бесполезные мысли, наоборот, соберитесь, требования к вам будут предъявлены чрезвычайно высокие. На наше доброе отношение вы добром не ответили, позабыв, что уж кем бы мы там ни были, но по сравнению с вами мы, по крайней мере, люди свободные, а это не пустяк. Тем не менее мы готовы, коли вы при деньгах, принести вам небольшой завтрак из кафе напротив.

Ничего на это предложение не ответив, К. некоторое время просто стоял молча. Если он сейчас распахнет дверь в следующую комнату, а потом и в прихожую, может, эти двое и задерживать его не посмеют, может, это и есть самое простое, самое верное решение — пойти напролом? Ну а вдруг его схватят, да еще, чего доброго, повалят, — после такого-то унижения куда подевается все превосходство, которое он пока что худобедно над ними сохраняет? А коли так, он предпочел все-таки безопасность, решив к крайним мерам не прибегать, а позволить событиям идти своим предусмотренным ходом, с чем и проследовал к себе в комнату, сам ни слова не говоря и от стражников слова не услышав.

Там, упав на кровать, он взял с умывального столика румяное яблоко, которое накануне вечером приберег к завтраку. А теперь вот оказалось, ничего другого к завтраку у него и не будет, но даже такой завтрак, уверил он себя, откусывая первый, большой и сочный, кусок, куда лучше, нежели завтрак из вонючей ночной забегаловки напротив, который он жалкой подачкой мог бы получить по милости стражников. Он чувствовал себя легко и покойно, правда, нынче до обеда он пропустит присутствие в банке, но при довольно высокой должности, какую он там занимает, это вполне простительно. Вот только удобно ли изложить в оправдание истинную причину своей задержки? Он решил, что так и сделает. А если не поверят, что в подобном случае очень даже понятно, можно привлечь свидетелей — госпожу Гробах или хотя бы тех же стариков напротив, которые, надо полагать, тащатся сейчас к другому окну. Удивительно только — по крайней ме-

ре, если встать на точку зрения стражников, оно и вправду удивительно, — почему его загоняют обратно в комнату, не боясь оставить там одного и давая возможность покончить с собой любым из дюжины мыслимых способов. Впрочем, вставая уже на свою точку зрения, он тут же спросил себя, какая, собственно, причина могла бы побудить его на такой шаг? Уж не та ли, что двое чужаков за стенкой присвоили и нагло улетают его завтрак? Более дурацкую причину трудно вообразить, и даже вздумай он из-за этого с собой покончить, от одной только нелепости не смог бы. Не будь столь очевидна умственная ограниченность его стражей, впору предположить, что и они, пройдя путем тех же умозаключений, потому и оставляют его в одиночестве, ничего не опасаясь. Что ж, коли так, пусть бы поглядели, как он сейчас подходит к стенному шкафчику, где у него припрятана заветная бутылочка доброго шнапса, как опустошает первую рюмашку, это взамен завтрака, а потом и вторую, это уж для храбрости, на тот, впрочем, маловероятный случай, ежели храбрость и вправду понадобится.

Но тут громкий крик из соседней комнаты испугал его настолько, что он даже зубами о край рюмки клацнул.

— Вас вызывает надзиратель!

Напугал его именно сам крик, этот отрывистый, рывкающий, солдафонский лай, какого он от стражника Франца никак не ожидал. Приказ же, по сути, был ему донельзя кстати.

— Наконец-то! — откликнулся он, запер стенной шкафчик и поспешил в соседнюю комнату.

Оба стражника уже стояли наготове и тут же, будто им и впрямь все дозволено, погнали его обратно в комнату.

— Вы в своем уме? — кричали они. — В рубашке к надзирателю! Да он высечь вас прикажет, и нас заодно!

— Оставьте меня, черт подери! — вопил К., уже притиснутый к своему платяному шкафу. — Вытащили человека из постели и еще требуют, чтобы он был в парадном костюме!

— Даже не спорьте! — приговаривали стражники, которые всякий раз, когда К. повышал голос, сохраняли полнейшее спокойствие и как будто даже слегка за него расстраивались, чем немало его обескураживали, но в какой-то мере и образумливали.

— Дурацкие церемонии! — пробурчал он, а сам уже сдернул со спинки стула свой пиджак и, подержав навесу, показал стражникам, как бы им предоставляя решать, годится пиджак или нет.

Те покачали головами.

— Нужен черный, — изрекли они.

В ответ К. попросту уронил пиджак на пол и проговорил, сам не поняв, в каком смысле:

— Но ведь это еще не судебное слушание.

Стражники улыбнулись, но остались непреклонны.

— Нужен черный.

— Что ж, если это ускорит дело, будь по-вашему, — рассудил К., сам распахнул дверцы шкафа, долго перебирал свой обширный гардероб, выбрал лучшую черную пару с приталенным пиджаком, чей модный покрой вызвал едва ли не фурор в кругу знакомых, достал к нему и свежую сорочку, после чего принялся тщательно наряжаться. В глубине души он не переставал радоваться, что процедуру сборов все равно удалось ускорить, ведь стражники не додумались запихнуть его еще и в ванну. Исподтишка он на них поглядывал, не спохватятся ли, но им, понятно, такое и в голову не пришло, зато Виллем посчитал нужным послать Франца к надзирателю доложить, что К. одевается.

Когда К., уже при полном параде, в близком и неотступном сопровождении Виллема прошел через гостиную госпожи Гробах, он обнаружил, что двустворчатая дверь следующей комнаты распахнута настежь. Комнату эту, К. точно знал, с недавних пор занимала барышня Розген, машинистка, уходившая на работу очень рано, возвращавшаяся поздно, так что К. за все время едва успел пару раз с ней поздороваться. Теперь же ночной столик возле ее кровати, превратившись в канцелярский, выдвинут был на середину комнаты, за ним-то и расположился надзиратель, скрестив ноги и закинув руку на спинку кресла. В углу комнаты стояли трое молодых людей, они разглядывали фотографии барышни Розген, приколотые к рогожке на стене. На ручке раскрытого окна висела белая блузка. В доме напротив уже снова залегла на подоконнике пара стариков, но зрителей там прибавилось, ибо за спинами их воздвигся здоровенный детина в расстегнутой на груди рубашке, то и дело теребя свою рыжеватую бородку.

— Йозеф К.? — спросил надзиратель, надо полагать, лишь затем, чтобы обратить на себя рассеянные взоры вошедшего.

К. кивнул.

— Вы, вероятно, весьма удивлены событиями нынешнего утра? — спросил надзиратель, деловито передвигая обеими руками немногие предметы — свечу, спички, книгу, подушечку с иглами, — разложенные перед ним на столике, словно вещи эти необходимы ему в работе.

— Разумеется, — отозвался К., ощущая приятное облегчение оттого, что наконец-то видит перед собой разумного че-

ловека, с которым можно обсудить свое положение. — Разумеется, я удивлен, но отнюдь не весьма удивлен.

— Не весьма? — переспросил надзиратель, ставя свечу на середину столика и группируя вокруг нее прочие предметы.

— Возможно, вы не так меня поняли, — поторопился заметить К. — Я имею в виду, — тут он осекся, оглядываясь в поисках стула. — Я ведь могу сесть? — спросил он.

— Не принято, — проронил надзиратель.

— Я имею в виду, — продолжил К. теперь уже без заминки, — что вообще-то я весьма удивлен, но, когда проживешь тридцать лет на белом свете, да еще в одиночку всюду пробиравшись, как выпало мне, то и к неожиданностям не привыкать, и принимаешь их не слишком близко к сердцу. Особенно такие, как сегодня.

— Почему особенно такие, как сегодня?

— Не хочу сказать, что полагаю все это шуткой, для шутки слишком уж много всего пришлось бы подстраивать. Тут и все жильцы квартиры должны участвовать, и вы все, нет, для шутки это слишком далеко зашло. Словом, не хочу сказать, что полагаю все это шуткой.

— И очень правильно, — бросил надзиратель и посмотрел, сколько в коробке осталось спичек.

— С другой стороны, однако, — продолжил К., обращаясь сразу ко всем присутствующим, включая, возможно, и троицу в углу возле фотографий, — с другой стороны, и на очень уж серьезную историю это не слишком похоже. Я из того это заключаю, что, хоть меня и обвиняют в чем-то, но сам я ни малейшего повода к обвинению за собой не знаю и найти не могу. Но даже и это не существенно, главный вопрос — кто меня обвиняет? По какому ведомству возбуждено следствие? Взять вот хоть вас — вы чиновник? Формы ни на ком из вас нет, если только не считать формой, — тут он обратился к Францу, — вот этот ваш костюм, но он скорее просто дорожный. В этих вопросах мне требуется ясность, и я совершенно убежден, что, как только эта ясность будет установлена, мы сможем самым сердечным образом друг с другом распрощаться.

Надзиратель бросил спичечный коробок обратно на стол.

— Вы пребываете в большом заблуждении, — изрек он. — И эти господа, и сам я к вашему делу имеем лишь очень отдаленное касательство, да мы и не знаем о нем почти ничего. И будь на нас хоть самые казенные мундиры на свете, дело ваше от этого ничуть бы не усугубилось. Я даже никоим образом не могу вам сказать, обвиняют ли вас в чем-либо, точнее говоря, я этого просто не знаю. Вы взяты под стражу, это верно, а больше мне ничего не известно. Может, стражники что-то

другое вам наплели, ну так это просто болтовня и ничего более. Но даже не имея ответов на ваши вопросы, я тем не менее могу дать вам совет: поменьше думайте о нас и о том, что вас ждет, побольше думайте о себе самом. И прекратите, чуть что, распинаться о своей невиновности, это подрывает в целом неплохое впечатление, которое вы производите. Вам вообще следует быть посдержаннее в речах, почти все, что вы сейчас тут наговорили, можно было заключить из вашего поведения, даже ограничься вы лишь парой слов, да и не очень-то это было к вашей выгоде.

К. вперился взглядом в надзирателя. Вроде молодой еще, а смеет отчитывать его, как школяра? За откровенность ему платят нотацией? Не сообщив ни о причине задержания, ни о том, кто на сей счет распорядился? Впав в некоторое волнение, он шагал туда-сюда по комнате, в чем ему, кстати, никто не препятствовал, поправил манжеты, одернул сорочку на груди, пригладил волосы, проходя мимо молодых людей в углу, раздраженно бросил: "Ерунда какая-то!" — на что те сразу обернулись, глядя на него сочувственно, однако очень уж серьезно, после чего, наконец, снова возвратился к столу надзирателя.

— Прокурор Спешке добрый мой приятель, — сообщил он. — Могу я ему позвонить?

— Разумеется, — бросил тот, — хоть я и не понимаю, какой в этом смысл, разве что вам по личному делу переговорить.

— Какой смысл? — вскричал К. скорее от изумления, чем от злости. — Да откуда вы такой взяли? Требуете смысла, а сами творите бессмыслицу, какой свет не видывал! Тут и камни возопят! Сперва эти господа вламываются ко мне без спроса, а теперь вон сидят-стоят, глазают, как вы меня тут жучите. И в самом деле, какой, спрашивается, смысл звонить прокурору, коли я, по вашим словам, взят под стражу? Хорошо, я не стану звонить.

— Да ради бога, — молвил надзиратель, вяло поведя рукой в сторону прихожей, где был телефон, — звоните, если охота.

— Нет, теперь не хочу, — бросил К., отходя к окну.

В доме напротив все та же компания по-прежнему торчала в окне, и только внезапное приближение К. внесло в ее ряды некоторую тревогу. Старики даже порывались отпрянуть, но детина, стоя позади, их успокоил.

— Там вон тоже зрители имеются! — крикнул К. надзирателю, указывая на зевак пальцем. — Убирайтесь! — гаркнул он уже прямо в окно.

Вся троица и вправду тут же отступила на несколько шагов, а старики даже спрятались за могучей спиной детины,

который, судя по губам, что-то говорил, но издали слов было не разобрать. Впрочем, совсем они не ушли, а, похоже, просто выжидали, когда можно будет снова незаметно приблизиться к окну.

— Что за люди! Ни стыда ни совести! — буркнул К., снова оборачиваясь в комнату. Краем глаза он успел заметить, что надзиратель вроде бы ему сочувствует. Впрочем, возможно, тот и не слушал вовсе, поскольку, приложив ладонь к столику, с большим интересом сравнивал длину собственных пальцев. Оба стражника, усевшись на сундуке, для красоты прикрытом ковриком, потирали ляжки. Трое молодых людей стояли руки в боки и скучливо поглядывали по сторонам. В комнате было тихо, словно в богом забытой конторе на выходные.

— Что ж, господа! — воскликнул К., и на секунду ему показалось, будто всех присутствующих он тащит на своих плечах. — Судя по вашему виду, надобность у вас ко мне, полагаю, отпала. А посему, сдается мне, не лучше ли нам, не вникая в степень правомерности или необоснованности ваших действий, поладить миром и, ударив по рукам, разойтись? Если и вы того же мнения, то извольте... — с этими словами он подошел к столику и протянул надзирателю руку.

Тот поднял глаза и, пожевывая губы, молча смотрел на его протянутую руку; К. все еще верил, что он ее пожмет. Но надзиратель встал, осторожно, обеими руками, как примеряют в магазине новую шляпу, взял с постели барышни Розген свой круглый жесткий котелок и надел.

— До чего просто вам все это представляется, — проговорил он при этом. — Полагаете, мы можем закрыть дело за примирением сторон? Нет-нет, это и впрямь никак не возможно. Чем я вовсе не хочу сказать, что вам стоит впадать в отчаяние. Ничуть, да и с какой стати? Вы задержаны, взяты под стражу, только и всего. Мне надлежало вас об этом уведомить, я это выполнил и видел, как вы восприняли уведомление. На сегодня этого довольно, и мы можем распрощаться, впрочем, лишь на время. Вы, полагаю, собирались сейчас в банк?

— В банк? — переспросил К. — Но ведь я, кажется, задержан? — Вопрос этот К. задал чуть ли не с вызовом, ибо, хоть рукопожатие его и не было принято, он, особенно с той секунды, как надзиратель встал, чувствовал все большую независимость от визитеров. Он уже играл с ними. И готов был, если они и впрямь наладятся уходить, бежать за ними до самых ворот и требовать, чтобы его задержали. Вот он и спросил снова:

— Как же мне идти в банк, раз я задержан?

— Ах вон что, — проронил надзиратель уже у двери. — Вы меня не так поняли. Все верно, вы взяты под стражу, но сие не должно препятствовать исполнению ваших служебных обязанностей. И в остальном, в повседневной жизни, не должно создавать вам помех.

— Коли так, под такой стражей и побыть не страшно, — сказал К., надвигаясь на надзирателя.

— Ничего иного я никоим образом и не имел в виду, — ответил тот.

— Тогда и в уведомлении о взятии под стражу особой надобности не видно, — проговорил К., подходя еще ближе. Тут и остальные к ним подтянулись. Все вдруг разом столпились на тесном пяточке у двери.

— Это была моя обязанность, — сказал надзиратель.

— Дурацкая обязанность, — неуступчиво уточнил К.

— Возможно, — ответил надзиратель, — но не стоит попусту терять время на подобные разговоры. Я всего лишь предположил, что вы в банк собираетесь. Поскольку вы за каждым словом следите, добавлю: я вовсе не принуждаю вас идти в банк, а только предположил, что вы туда собираетесь. И чтобы вам это облегчить, чтобы сделать ваш приход в банк по возможности менее заметным, вызвал этих троих господ, ваших сотрудников, предоставив их в ваше распоряжение.

— Что? — вскричал К., вперяясь в эту троицу. И точно: эти столь невзрачные, унылые, блеклые субъекты, смутно запомнившиеся ему лишь невыразительной группкой в углу возле фотографий, и вправду оказались служащими из его банка — не сотрудники, конечно, больно много чести и лишь доказывает, что надзиратель всеведущ отнюдь не во всем, — но действительно служащие, да, из банка, младший персонал, несомненно. Да как же К. их проглядел? Насколько же завладели его вниманием стражники и надзиратель, что К. этих троих вообще не узнал! Нелепого, вечно надменно размахивающего руками Плахенштайнера, белобрысого Куллиха с запавшими глазами и Каминера с этой невозможной его ухмылкой, которая на самом деле просто хронический перекос лицевых мускулов.

— Доброе утро, — сказал К., слегка замаявшись и в ответ на учтивые поклоны протягивая руку всем троим по очереди. — Я и не узнал вас. Ну что, отправимся, значит, на службу, не так ли?

Все трое с подобострастным смешком закивали, словно все время только и ждали этих его слов, и лишь когда К. не нашел свою шляпу — она осталась у него в комнате, — все вместе, гуськом, побежали ее искать, чем и выдали все же некоторое

свое смущение. К. через раскрытые двери молча наблюдал их пробежку по анфиладе комнат, последним, лишь для вида изображая торопливость, элегантно рысцой трусил вялый Плахенштайнер. Когда Каминер подал ему шляпу, К. пришлось, как это частенько бывало и в банке, с усилием напомнить себе, что бедняга не нарочно так улыбается, более того, что нарочно он вообще улыбаться не умеет. В прихожей госпожа Гробах, с виду даже не особо сконфуженная, отперла всей их компании входную дверь, и К., уже почти по привычке, мельком глянул на завязки ее фартука, без особой надобности туго-натуго перетянувшие ее мощный стан. Внизу, с часами в руке, К. решил взять авто, дабы не усугублять и без того уже получасовое опоздание. Каминер побежал на угол за машиной, двое других мялись, очевидно, в намерении как-то его развлечь, когда Куллик вдруг показал на ворота напротив, в проеме которых возник тот самый детина с плюгавой бородкой и, должно быть, от смущения, что его видно во весь его недюжинный рост, отступил назад и даже прильнул к стене. Старики, надо понимать, еще спускались по лестнице. А К. вдруг разозлился на Куллика за то, что тот обратил внимание на детину, которого сам он заметил первым и почти наверняка ожидал увидеть.

— Не смотрите туда! — прикрикнул он сердито, позабыв, насколько неуместен подобный тон в обхождении с взрослыми, самостоятельными людьми. Объясняться, однако, не пришлось, ведь тотчас подкатил автомобиль, они уселись и поехали. Только тут К. спохватился, что не видел, куда подевался надзиратель со стражниками, выходит, сперва из-за надзирателя он не признал троицу из своего банка, а теперь из-за этой троицы надзирателя проморгал. Об особом присутствии духа все это не свидетельствовало, и К. мысленно наказал себе впредь внимательнее за собой следить. И тут же невольно обернулся, даже перегнулся через откинутый верх автомобиля, в надежде там, позади, все-таки увидеть надзирателя и стражников. Однако тотчас одернул себя, сел прямо и поудобнее откинулся в углу на спинку сиденья, вообще запретив себе кого-либо искать глазами. И все же, при всей напускной замкнутости, ему как раз сейчас очень нужно было, чтобы хоть кто-то с ним заговорил, но попутчики, похоже, утомились, Плахенштайнер смотрел направо, Куллик налево, к его услугам оставался только Каминер с неизгладимой своей улыбкой, подшутить над которой, как ни жаль, было бы совсем уж бесчеловечно.